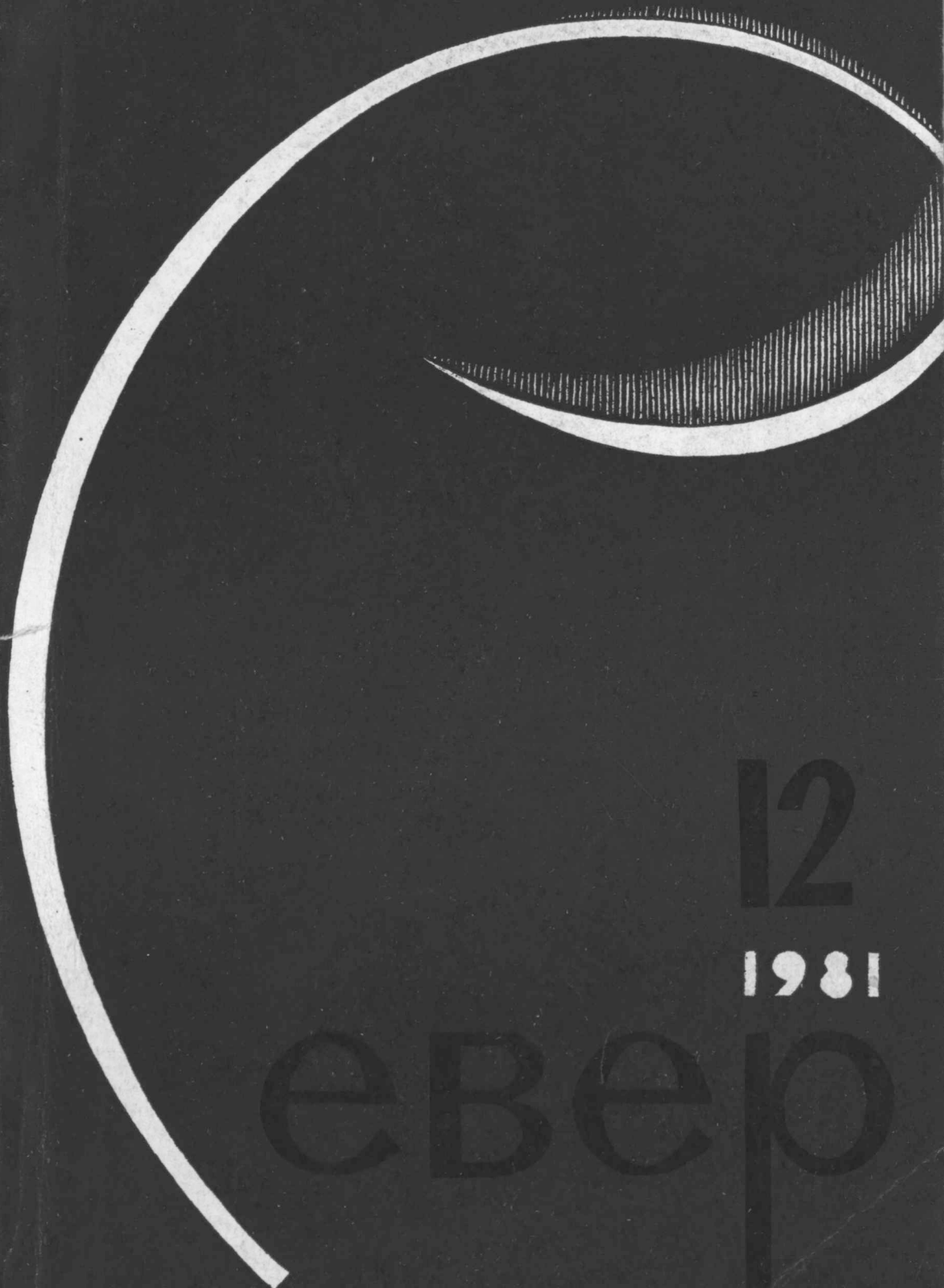


ISSN 0131-822



12

1981

EBEO

## Эйно КАРХУ

*Эйно Генрихович КАРХУ родился в 1923 году в Ленинградской области. Автор восьми книг и многочисленных статей по истории финской литературы, финско-русским литературным связям, литературе советской Карелии. Доктор филологических наук. Член Союза писателей СССР. Живет в Петрозаводске.*



## ПЕВЕЦ ФИНЛЯНДСКИХ ШХЕР

(О лирике Арвида Мёрне)

ЛИТЕРАТУРОЙ страны «тысячи шхер» называл поэт Арвид Мёрне (1876—1946) шведоязычную литературу Финляндии.

За этим метафорическим выражением, внешне не очень мудреным, скрываются непростые вопросы общего характера, и вначале полезно остановиться на них, чтобы разговор о лирике Мёрне был более понятен.

В отличие от коренных финнов, издавна живших преимущественно в глубинных районах страны, среди лесов и озер, финляндские шведы, начиная с первых переселенцев, располагались в основном у моря, на берегах Ботнического и Финского заливов, на бесчисленных островах-шхерах. И если «финская Финляндия» и ее литература ассоциировались прежде всего с озерами (распространенная и устойчивая метафора: «страна тысячи озер»), то своеобразным ландшафтным фоном «шведской Финляндии» и ее культуры стали море и шхеры.

Несколько лет назад, заинтересовавшись ближе литературой финляндских шведов, особенно XX века, я скоро почувствовал этот особый фон и колорит. Уже в финляндско-шведской фольклорной поэзии мотивы, связанные с постоянной жизнью людей у моря и морскими промыслами, занимают большое место. Море, шхеры, скалистые очертания берегов со временем стали приметами также ландшафта литературной поэзии, хотя произошло это не сразу. Например, крупнейший финляндский поэт XIX века Ю. Л. Рунеберг (1804—1877), писавший на шведском языке, еще не воспевал море как таковое, хотя он родился в приморском эстерботнийском городке Пнетарсаари в семье шкипера, да и потом жил преимущественно в приморских городах. Напротив, именно открытие Рунебергом озерной, глубинной Финляндии стало важным фактором как для его собственного творчества, так и для финской литературы в целом. И именно ему более всего обязана своей популярностью метафорическая форму-

ла «страна тысячи озер», хотя метафора имеет и более ранние литературные истоки.

Одними из первых в литературе Финляндии море начали воспевать Сакари Топелиус (1818—1898) и Теодор Линд (1833—1904), тоже писавшие на шведском языке. Однако и в их стихах 40—60-х годов море и шхеры еще не стали специфическим символом «шведской Финляндии» — для этого еще не пришло время. Только у финляндско-шведского поэта следующего поколения, К. А. Тавастшерны (1860—1898), обнаружилась тенденция к такой символизации, затем в более явной форме продолженная другими поэтами. Преимущественно с приморским ландшафтом стал связываться сам образный язык финляндско-шведской лирики, и творчество Арвида Мёрне может служить наглядным тому примером.

Сам Мёрне рано осознал эту особую связь ландшафта и поэтики. Еще вышедший в 1899 году первый его сборник открывался весьма показательным в этом смысле стихотворением «Два напева». Стихотворение имело подзаголовок «Финскому поэту». Как полагают исследователь Ханс Руин, в стихотворении подразумевался Эйно Лейно, тогда еще совсем молодой (на два года младше Мёрне), но успевший привлечь к себе внимание. Шведоязычный поэт обращался к финноязычному поэту, сопоставляя специфичность голоса каждого. Из контекста стихотворения совершенно очевидно, что имелась в виду не только индивидуальная, но и национально обусловленная специфичность. Мёрне писал о своем финском современнике: «Напев твоей лиры — это шум леса, дуновение ветра с полей спелой ржи. Созданная твоей песней страна светла, как свежая борозда на целине. А у меня — шхеры и море, светлые брызги волн. У меня — песни моря, чей рокот храбро состязается с твоими напевами». Особый «приморский» колорит финляндско-шведской лирики выражен здесь вполне отчетливо.

Впрочем, применительно к некоторым по-

следующим шведоязычным писателям (в том числе к авторам экспрессионистского направления 1920-х годов — Э. Седергран, Х. Ульссон, Э. Диктониусу, Г. Бьерлингу) принято говорить не столько о финляндско-шведском, сколько об интернационально-космополитическом характере их творчества. Такую мысль можно встретить, например, в основательных исследованиях У. Энкелля об экспрессионистах, причем в числе прочих доводов он ссылался на особые обстоятельства их биографии, на то, что некоторые из этих авторов родились и выросли в инациональной, не в финляндско-шведской среде: Седергран родилась и воспитывалась в Петербурге, Ульссон — в «космополитическом» тогда Выборге, Диктониус — среди финского (а не шведского) населения Нурмиярви. Все это, по мысли У. Энкелля, способствовало тому, что именно через упомянутых авторов-экспрессионистов финляндско-шведская литература испытала мощные европейские (в том числе русские и финские) влияния и до некоторой степени «космополитизировалась», возвысилась над узконациональной финляндско-шведской почвой.

Хотя в таких соображениях есть известный резон, тем не менее эта литература оставалась все же именно финляндско-шведской литературой со своими особыми проблемами и особым ландшафтным фоном. Так же сегодня, когда разносторонние инациональные влияния чрезвычайно усиливаются и когда среди финляндских шведов все чаще дискутируется вопрос о перспективах самого существования их литературы в условиях прогрессирующей ассимиляции их с финнами, все же национально-этнической опорой этой литературы продолжает по-прежнему быть именно прибрежно-островное шведское население. В этом смысле, например, Аландские острова — не только географическое, но и национально-культурное понятие. Это и тщательно оберегаемая, можно сказать, заповедная островная территория шведского языка и шведских культурных традиций, сохранению и развитию которых способствует политическая автономия Аланда.

Обо всем этом я постепенно набирался сведений в процессе книжных штудий. Но что такое реальное финляндско-шведское при море и как выглядят реальные шхеры в их натуральном виде — об этом я долго не имел никакого понятия. Несколько раз бывал я в Финляндии в служебных поездках, но, занятый другими делами, до шхер и «островной культуры» не добирался.

Добраться и понять кое-что помог случай. В августе 1980 года в числе участников состоявшегося в финском городе Турку международного научного конгресса по проблемам языков и культуры финно-угорских народов мне посчастливилось совершить две поездки в шхеры — сначала к острову Сейли, входящему в Туркуский архипелаг, затем на Аландские острова.

В первой поездке у нас был замечательный гид — уважаемый финский профессор и академик. Являясь по профессии географом, одним из руководителей комплексного естественно научного центра на острове Сейли, он без затруднений нашел общий язык с нами, представителями гуманитарных специальностей, приехавшими из разных стран, начиная от соседней Скандинавии и Советского Союза и

кончая Японией и США. По виду академику было около шестидесяти, он был строен, высок, моложав. Уже по физическому складу и чертам лица можно было догадаться, что он не финн, а финляндский швед, да и фамилия у него была шведская. Однако по-фински он говорил безукоризненно, без малейших «шведизмов» и без малейшего акцента. В последующей беседе выяснилась любопытная для нас деталь: академик рассказал, что если для его отца (тоже ученого-естествознателя) шведский язык оставался еще главным языком, а по-фински он почти не говорил, то сам академик — двуязычен и одинаково хорошо говорит на обоих языках страны, тогда как для его взрослых детей главным стал уже финский язык, на котором они говорят лучше и охотней, чем на шведском. Этот частный эпизод из истории трех поколений одной финляндско-шведской семьи по-своему отражает сложность происшедших культурно-языковых сдвигов в более широком масштабе на протяжении десятилетий. Сдвиги эти имеют довольно близкое отношение также к теме данной статьи об Арвиде Мерне, много размышлявшем о содержании и судьбах финляндско-шведской культуры.

...Старенький теплоходик с двумя десятками пассажиров на борту неторопливо отчалил от пристани в Турку и направился из устья Аура-йоки в море, к острову Сейли. В туркуских шхерах двигаться надо осторожно, много подводных скал, и быстроходные суда здесь ни к чему. По этой же причине Турку, самый древний и некогда главный приморский город Финляндии, в наше время уступил роль ведущего порта другим финляндским городам. Наш теплоходик не торопится, но море близко, и сразу же начинаются шхеры.

Так вот какой этот «шергорд» — островной архипелаг, насчитывающий только поименованных островов около шести тысяч (Аландский архипелаг включает тридцать тысяч островов, но только на шестнадцати из них в настоящее время есть постоянные жители). Шхеры разные — по величине, рельефу, растительному покрову. Например, совсем близко от Турку, фактически в черте города, есть живописный остров Руйссало с уникальными для Финляндии естественными дубовыми рощами. И есть немало скалистых, совершенно голых, безлесных шхер, разве что виднеются у берега несколько искривленных, цепких, обдуваемых всеми ветрами карликовых сосен — шведское «partall», очень часто встречающееся у Мерне слово-символ как выражение предельной стойкости, неуступчивости, вызова.

Впечатление от упрямо поднявшихся над водами гранитных громад такое, что они — воплощение необузданного своеволия природы. Но парадокс в том, что сохраняется это впечатление необузданности ценой строжайшей регуляции всей современной жизни в районе архипелага, неусыпными усилиями по его защите от нежелательных влияний человеческой деятельности. В шхерах — и под Турку, и на Аланде — регулируется абсолютно все: строительство (на большинстве островов запрещенное), движение, рыболовство, туризм. Между прочим, научный центр на острове Сейли занят прежде всего экологическими

проблемами с точки зрения сохранения архипелага, признанного уникальным.

Но при всем этом на Аландских островах, собственное население которых вот уже несколько десятилетий не превышает двадцати пяти тысяч человек, ежегодно бывает более миллиона туристов.

Даже эпизодическому гостю на Аланде бросается в глаза следующее противоречие — или нечто, может быть, лишь кажущееся противоречием, но в действительности не являющееся таковым.

С одной стороны, в самом внешнем облике обжитых островов, в строениях, в облики музеев и всевозможных памятных мест, в страсти жителей к старинной народной музыке, которую исполняют самодеятельные скрипачи в ярких народных костюмах, — во всем этом проявляется подчеркнутое стремление сохранить традиционное и самобытное, не утратить своего лица, не раствориться среди тех интернационально-безликих туристов, которые тысячами прибывают ежедневно на острова и которые, надо полагать, приносят немалые доходы соответствующим фирмам. Аландцы не стыдятся того, что они провинциальны — они хотят казаться даже более провинциальными и консервативно-патриархальными, чем они есть на самом деле. Хорошо пишет об этом критик-эссеист Йоханнес Салминен, сам уроженец Аланда. Он аттестует своих земляков с любовью, но без прикрас. Аландец, пишет он, может удивить приезжего «безнадежно неинтеллектуальностью»: читать он не охотник, книги в его доме водятся редко, и к местным книжочкам, к школьному учителю или священнику он относится не то чтобы пренебрежительно, но с легкой улыбкой практического человека, для которого книги не есть еще настоящее дело и настоящая жизнь. Сам он именно человек дела — земледельец, рыбак, мореход; для его предков и для него самого природа была сурова, в результате они были слишком охвачены непосредственной материальной жизнью и ее заботами, и книги для них — нечто вроде блажи, занятие для людей праздных и не совсем от мира сего. Однако в этой «поглощенности жизнью», продолжает Салминен, есть и своя привлекательная сторона, выражающаяся в непосредственности характера и поведения островитян. С ними легко жить и ладить — критик называет их «в известном смысле экспертами человеческого обхождения». Они могут казаться «неинтеллектуальными», но их эмоции, душевная жизнь по-своему многосторонни. В качестве примера критик рассказывает о семидесятилетней аландской женщине, которая при всей своей набожности первая выходила на праздниках плясать, — она хотела, чтобы бог принимал ее такой, какая она есть, с радостью и горем, смехом и слезами. По словам И. Салминена, аландцы религиозны, но аскетические формы пиевизма и сектанства им чужды.

Конечно, под напором изменяющегося мира жизнь на Аланде, равно как и характеры островитян, не могут не меняться. Но и за свое аландцы умеют держаться. Например, в своей столице Мариенхамне они запрещают строить дома выше трех этажей, вовсе не желая копировать современные города-гиганты. Железобетонным гигантизмом сегодня никого не удивишь — скорее можно удивить и завлечь деревянными ветряными мельницами, ко-

торых на островах в изобилии. Словом, линия такова: пусть маленькое и провинциальное, но свое, включая свое самоуправление, свой парламент-ландстинг (тридцать депутатов), а с 1954 года и свой флаг как символ автономии. Аландские острова — единственная в Финляндии провинция, где нет официального двуязычия: школьное образование, вся административная и общественно-культурная деятельность осуществляются только на шведском языке. Удовлетворительное владение этим языком является одним из обязательных условий получения «права оседлости», права постоянного местожительства на Аланде. И еще немаловажный факт: уже более ста лет Аландские острова являются демилитаризованной территорией, на постоянных жителей которой не распространяется закон о воинской повинности.

Но это лишь одна сторона медали. Другая сторона, казалось бы, противоречащая первой, заключается в том, что именно самобытность островной жизни и природы, некоторая культурная обособленность привлекают на Аланд все большее число людей извне. Острова связаны тесными экономическими отношениями как с финляндской метрополией, так и с соседними странами, особенно со Швецией. За идиллическим музейным антуражем идет современная деловая жизнь с компьютерами и автоматикой, подстегиваемая неумолимой конкуренцией. Научно-технический прогресс проникает в традиционные аландские промыслы, традиционные формы жизни. Нам рассказывали, например, что некоторые островные рыбаки уже перестали выезжать на своихботах в море, ставить сети, ночевать на шхерах; вместо этого они откармливают дорогие сорта рыбы в садках у дома — так надежнее и проще, не надо мерзнуть на ветру в открытом море или переживать в тревоге бурю на берегу. Впрочем, хлопот и тревог у них, наверное, и теперь хватает, при всей идилличности аландских видов, созерцаемых из окна туристского автобуса. Но это уже другие тревоги, раз уж в мире все изменяется.

Свидетелем коренных общественно-политических сдвигов, коснувшихся и жителей финляндских шхер, был еще Арвид Мерне, к творчеству которого мы теперь переходим.

Мерне — поэт именно переломной эпохи, пришедший в литературу в преддверии революционных событий 1905—1907 годов и сам активно участвовавший в них. Пережитое им последующее историческое время также не было идиллическим. Яркое пламя рабочей революции 1918 года в Финляндии, мрак белогвардейского террора, затем годы политической реакции и милитаризма, наконец вторая мировая война — все это нашло отклик в душе Мерне и отразилось в его творчестве.

Поэты могут быть современниками, но время влияет на них по-разному. Мерне был современником, например, Бертеля Грипенберга, другого финляндско-шведского поэта, однако общего между ними мало — они были идейными антиподами и сами всегда сознавали это. Арвиду Мерне, поэту леворадикального и демократического направления, были глубоко враждебны и эстетство, и высокомерный духовный аристократизм, и презрение к социальным низам — все то, что явилось специфически грипенберговским откликом на революционное пробуждение масс. Начало века было временем, способствовавшим идейному



размежеванию, и поэты оказывались на разных рубежах.

Тем не менее путь Мерне не был прямым ни в общественном, ни в литературно-художественном отношении. На свой консервативный лад Грипенберг был куда более прямолинеен. В молодости Мерне мечтал о роли общественного трибуна, человека действия и в некоторых эпизодах пытался энергично выступать в такой роли, хотя его энергию подтачивали рефлексия и колебания. В сознании молодого Мерне преломлялись разные ветры эпохи: интерес к зарождающейся социал-демократии и пролетарской революционности, экстремистский мелкобуржуазно-интеллигентский активизм, а наряду с этим традиционные буржуазно-либеральные упования и иллюзии. Подверженный скепсису и сомнениям, пережив немало разочарований, Мерне был, однако, тверд в своей вере в незыблемые гуманистические ценности, служившие ему ориентиром как в творчестве, так и в гражданском поведении. Даже оказываясь во власти пессимизма, он в решающие моменты истории находил в себе достаточно духовного здоровья и мужества, чтобы резко отмежеваться от реакционных поветрий, ибо компромиссы в этих случаях были для него равносильны предательству.

Показательную в этом смысле деталь приводит Атос Виртанен, социал-демократический публицист, поставивший эпиграфом к сборнику своих антифашистских и антивоенных статей высказывание Арвида Мерне в частной беседе осенью 1942 года. Шла вторая мировая война, в которой Финляндия выступала союзницей гитлеровской Германии. Среди финских правых, в том числе в тогдашних литературных кругах, было немало людей, желавших победы Гитлеру и его пособникам. Но Мерне думал иначе — само допущение победы фашизма казалось ему преступным и ужасным. Его слова из эпиграфа: «Даже если для финнов это будет означать крах в теперешней войне, все равно мы обязаны ради человечества желать поражения Германии». В этом случае, как и в других подобных случаях, для Мерне уже не могло быть колебаний. Срабатывал нравственный императив, сознание прочерчивало рубеж, преступив который уже нельзя было считать себя интеллигентом и гуманистом. Это оберегало от роковых ошибок также Мерне-поэта.

Мотивы свободолобия были присущи Мерне на всем протяжении его творческого пути, хотя выражались они по-разному. В самых ранних стихах они связывались с романтикой моря, с древневикингской героикой. Мерне не был потомственным помором и жителем шхер. Он родился в Куопио в семье таможенного служащего. Но еще в 1882 году семья переселилась в приморский город Уусикаупунки, где мальчик впервые подружился с морем. Рано стали проявляться социальные симпатии Мерне. Поступив в 1894 году в Хельсинкский университет, он надолго увлекся идеями народного просвещения, которые в еще неясной форме связывались в его сознании с социальными надеждами. Выезжая студентом в сельские места для организации просветительских курсов среди шведоязычного населения, он столкнулся с фактами социального неравенства в тогдашнем сословном обществе с его торпарской системой и другими формами угнетения. В 1899 году Мерне был назначен

директором народного училища в местечке Финнс. Продолжительная учительская работа в провинции также способствовала его знакомству с народной жизнью и ее проблемами.

Мерне убеждался в том, что это были прежде всего именно социальные проблемы. Из этих проблем вытекали для Мерне и задачи шведоязычной литературы Финляндии. Это должна была быть демократическая литература — о народе и для народа, а не для привилегированной верхушки. Откликаясь на дискутировавшийся тогда вопрос, есть ли у шведоязычной литературы Финляндии будущее, Мерне писал: «Да, есть. Но ей надлежит быть не предметом утонченной роскоши для оторвавшегося от народной массы высшего сословия, а зеркалом жизни шведского населения в целом». Именно в демократическом смысле Мерне мечтал о доступной для всех «литературе края тысячи шхер».

Идеей демократизма пронизано и поэтическое творчество Мерне. Правда, самая ранняя его лирика — первый сборник «Ритм и рифма» (1899) и отчасти сборник «Новые песни» (1901) — выдержана еще в общеромантическом и общепатриотическом духе. Как уже упоминалось, раннее Мерне не была чужда древневикингская героика, которая в поэзии Швеции ведет свое начало еще от так называемых «готов» (Э. Г. Гейер и другие поэты «Готского союза» с журналом «Идуна», 1810—20-е гг.). В конце XIX века «готизм» неожиданно нашел отклик в Финляндии, что было связано с рождением и оформлением финляндско-шведского национального движения. Финляндские шведы стали искать свои «кистоки», и возникшая еще в собственно шведской лирике викингская романтика оказалась кстати. Еще газета А. О. Фройден-тала, одного из ранних идеологов финляндско-шведского национального движения, называлась «Викинген» (1870—1874). В финляндско-шведскую поэзию викингскую героикой одним из первых внедрял В. К. Викман (1856—1938), более известный по литературному псевдониму Гонге Рольф. Его стихами Мерне увлекался со школьных лет.

Однако романтика моря и викингские мотивы, при всей их традиционности и распространенности, получали в ранней лирике Мерне некоторые особые нюансы, предвещавшие дальнейшую эволюцию поэта влево. Образы моря и отважного пловца издавна были в лирике символами свободы. Но пловец с «огненно-красным парусом» на фоне белокрылых чаек, в изобилии ослепительного света — это было уже характерно мерневским поворотом традиционной романтической темы.

В ранней лирике Мерне по-новому начинает звучать тема родины. Он начал с общепатриотических мотивов, однако по мере усиления социальной привязанности в его поэзии понятие родины подвергается решительной переоценке.

Еще в творчестве К. А. Тавастшерны симптоматичными были горестные жалобы на «утрату родины», на ее исчезновение и отсутствие, хотя поэту страстно хотелось родину обрести. Речь шла о многосложном чувстве родины, включавшем привязанность к родной земле, к народу, к языку, к национальному прошлому, настоящему и будущему, о чувстве, которое по ряду причин начало деформироваться в сознании поэтов и их героев. В этом смысле весьма характерно название одного из романов Тавастшерны «Патриот без отечества»

(1896). Тавастшерне принадлежат и часто цитируемые стихотворные строки, в которых упомянутый мотив утраты и жажды обретения родины звучит как мольба и закливание: «Дайте мне язык и страну, дайте мне узы, которые бы я любил всей душой! Дайте мне среду, в которой бы я по-настоящему принадлежал. Укажите цель, ради которой я мог бы пожертвовать собой».

Произошло драматическое отпадение индивида от целого, от национального и социального «тела», от народа, страны, и путь восстановления связи пока не был ясен. По этому поводу И. Салминен в своей статье о Тавастшерне называет его «первым осознавшим себя посторонним» в финляндско-шведской литературе, первым «сознательным аутсайдером».

Причина была не только в сужении «шведской Финляндии», но и в глубоких социально-классовых изменениях всего финского общества. Хотя сетования Тавастшерны и могли поначалу казаться до удивления странными, они не были единичными в тогдашней литературе Финляндии. Подобным жалобам предавались и финноязычные писатели. В лирике эти мотивы хорошо известны у Эйно Лейно, Л. Онерва, других поэтов-неоромантиков.

Причины были общественно-политические: с развитием капитализма углублялись социальные противоречия — зародилось и крепло рабочее движение, расслаивалась финская деревня, изменилось прежде содержание таких понятий, как народ, народный характер, народная почва и традиции. У разных писателей чувство «утраты родины» могло выражаться по-разному — и в идеологическом отношении, и в смысле глубины и драматизма душевного переживания. Если у Тавастшерны и затем у Лейно это была пронзительная утрата-боль, надрывная исповедь гордой, хотя и постылой неприкаянности, и если от этой горькой постылости во сто крат слаще становилась лелеемая в глубине души мечта о народной любви и всеобщей причастности, о счастье родины в демократическом смысле, то у Бертеля Грипенберга никакого демократизма, никакой любви к народу уже не осталось; понятие родины было для него сословно-дворянским, кастовым понятием, и «утрата родины» означала закат сословной Финляндии.

Напротив, Мерне начисто отвергал сословную иерархию и «господское отечество», чтобы в страстных поисках обрести родину демократическую и трудовую.

В самых ранних стихах Мерне направление поисков еще не имело достаточной социальной четкости, и все-таки оно уже обозначилось. Оно проявлялось в его тяготении к «периферийному» ландшафту, к народности стиля, в частности к жанру «вис» (песен) с проstonародными героями, в его пылком увлечении такими поэтами (например, Густавом Фредингом), для которых живописная народность была особенно характерна. Одна из наиболее удавшихся ранних «вис» Мерне обычно включается в поэтические антологии — это «Песня моряка» из первого его сборника, в которой в традициях народной песни воспевается образ «босоногой красавицы Майи» с островного маяка. И этот образ, и фольклорная эстетика стихотворения по-своему свидетельствовали о демократических

пристрастиях молодого поэта, которые в дальнейшем приобретали социальную конкретность.

Во втором сборнике Мерне был уже целый раздел (по нумерации — второй), включающий стихотворения с отчетливой социальной тенденцией, которая проявлялась и в трактовке темы родины. Например, в стихотворении «Нюланду» недвусмысленно подчеркивалось, что понятие родины у бедняков и богатей разное, что у них не могло быть общего чувства политической солидарности, желая действовать сообща.

Показательно, что и Мерне-критик приковывает в это время внимание к социально-классовому пониманию родины и патриотизма. В 1902 году он опубликовал статью о новых книгах шведских поэтов Э. А. Карлфельда и К. Г. Оссиана-Нильссона, и акцент в ней был на народном и социально-активном начале в творчестве этих поэтов. Мерне ждал поэзии, «рождающей действие», «отваживающейся на дерзкую пощечину времени, которое поэты, к их стыду, вынуждены считать своим». Прочитывая стихотворение К. Г. Оссиана-Нильссона «Отечество нищих», Мерне особо подчеркивал, что оно выражает не жалостливость к беднякам, а их социальную ненависть к порабощителям, к классово-эгоистическому буржуазному патриотизму. В русле этих леворадикальных интересов Мерне-критика лежат и его последующие исследования творчества Ю. Векселя, К. Крамсу, А. Киви, финляндских писателей XIX века, известных своим активным демократизмом. Некоторое влияние они оказали, надо полагать, и на Мерне-поэта.

В 1903 году вышел из печати сборник Мерне «Новое время» — вершина его леворадикальной лирики и, как считают некоторые исследователи, художественная вершина вообще всей левой — рабочей, социалистической — поэзии в Финляндии начала века.

Следует оговорить, что формально Мерне не входил в рабочие организации и не был членом социал-демократической рабочей партии. Добавлю, что он воздерживался и от членства в других партиях («активистов», шведской партии), с которыми у него также были контакты. Впоследствии Мерне объяснял это принципиальными соображениями: писателю, по его мнению, не следовало связывать себя партийным членством.

Но в начале века Мерне тесно сотрудничал с рабочими организациями и настойчиво призывал к сотрудничеству демократическую интеллигенцию, в особенности студентов. Когда в августе 1903 года рабочая партия на своем съезде в Форссе приняла новую, более левую программу, после чего партия стала называться социал-демократической, и когда буржуазная печать в связи с этим стала обвинять социал-демократов в «антипатриотизме», Мерне публично отверг эти обвинения и выступил в защиту новой программы. Особенно активным было его сотрудничество в рабочей газете «Арбетарен». В ней появились и некоторые стихотворения, затем вошедшие в сборник «Новое время».

Сборник открывался программным стихотворением «Требование». Подразумевалось требование новой эпохи к поэзии: новая поэзия «рождалась на фабриках и заводах», и это была «песня действия, песня борьбы». В ряде стихотворений — «Поэты», «Моя цель», «Моя ненависть» — Мерне отстаивал новую

поэзию в острейшем споре с эстетской поэзией, чуждавшей жизни, народных невзгод, борьбы. Поэзия — ничто, если она хочет процветать вне развития самой жизни. Ритмы и рифмы, слово и образ нельзя было отрывать от насущнейших нужд общества, потребностей социального прогресса, борьбы за справедливость. Иначе поэзия превращалась в игру, в красивые слова, в пустое фразерство. В «Моей ненависти» Мерне писал: «Я давно научился ненавидеть слово и любить жизнь. Плотно прижимаясь к земле, я впитывал ее соки. И теперь, когда над нами сгустился мрак, я вдвойне ненавижу слово». В наиболее социально-контрастной, классово-непримиримой форме два рода поэтов противопоставлены в стихотворении «Моя цель». Одни поэты пели «чарующие песни для услаждения слуха богачей», чьи вкусы были воспитаны («по мерке отцов») на продолжительных традициях книжной культуры. Другие поэты были певцами многоголосой улицы, трудовой массы, непосредственной жизни. «Я хочу, чтобы каждая моя рифма была с улицы, каждый ритм — из грохочущего ее движения. Народа блудный сын, я хочу вернуться в те темные проулки, растопить их вечный холод песней, которая, подобно трепету пламени в очаге, высветит мрачные углы». И в завершение остросоциальная деталь: если поэты-эстеты поют о мире богатых, то поэт-борец мечтает о том, чтобы «песней вбить гвоздь в гроб этого мира».

В приведенной цитате упоминание о «блудном сыне» народа применительно к авторскому лирическому «я» указывает на то, сколь непростой была для Мерне как представителя интеллигенции проблема сближения с рабочим движением. Он все-таки сознавал себя пришельцем из другой среды, попутчиком и новообращенным, и при всей страстности его желания быть вместе с угнетенными низами постоянно возникал вопрос о прочности взаимопонимания. Мерне был одним из тех поэтов, для творчества которых личные отношения с революционным народом стали особой лирической темой. Причем темой очень устойчивой, не отпускавшей их на протяжении всей жизни (другим таким поэтом, уже другой эпохи, стал Вилье Каява).

В сборнике «Новое время» Мерне обращался к этой теме в таких стихотворениях, как «Вопрос», «Демократы», «День странствий». Интонация здесь была еще по-юношески максималистской, революционно-жертвенной до самоотречения — в отличие от более поздних «мемуарных» возвращений поэта к событиям юности, уже с преобладанием созерцательной рефлексии и без былого огня.

Характерно, что в упомянутых стихотворениях Мерне прибегал к совокупному местоимению «мы». Под «мы» подразумевались такие же сочувствующие и страдающие народу интеллигенты, каким был сам автор. Однако путь к революционному народу не прост, и поэта тревожил вопрос о подлинности чувств и принятых решений. В «Вопросе» взята показательная для периода общедемократического подъема ситуация. У рабочего движения тогда было немало сочувствующих, красный цвет стал, по словам автора, «цветом времени», на рабочие демонстрации приходили студенты, представители художественной интеллигенции. Но насколько глубоким и

прочным являлось единство — вот вопрос, задаваемый поэтом.

Подобным же вопросом завершается стихотворение «Демократы». Наряду с подлинной борьбой масс за демократию была еще «игра в демократию» со стороны представителей имущих классов, игра в форме обещаний, либеральных жестов и мелких уступок. Господа выделяли гроши на народное образование и считали себя «друзьями народа», а требования о равенстве встречали с насмешкой. Но все явственней приближалась гроза народного гнева, уже слышались ее далекие раскаты. Массы властно требовали: «Долой аристократов и лжедемократов!» В предчувствии революционной бури поэт спрашивал тех, кто, подобно ему самому, сочувствовал народу: «Мы были молодой бунтарской порослью. Мы сами сеяли бурю. Хватит ли у нас теперь мужества, чтобы идти дальше и жить, как подобает демократам?»

От поэтов единение с революционизировавшимися массами требовало, по мысли Мерне, прежде всего решительного разрыва с той слащаво-идиллической фразеологией о «нашем народе», которая была в литературе чрезвычайно распространенной, но с подлинной народной жизнью не имела ничего общего. В «Дне странствий» автор призывал «разбить фальшивую лиру», лишь мешавшую узнать реальный народ. В стихотворении описывалось именно «странствие» к реальному народу с его страданиями и нуждами. Но, идя по пути «узнавания и единения», сочувствующий буржуазный интеллигент неизбежно подходил к такому рубежу, когда нужно было решаться на полный разрыв со своим классом, с его социальной психологией. Поэт страстно желал себе сил и мужества для принятия такого решения, он хотел «сжечь корабли и без оглядки идти вперед».

Один из циклов сборника «Новое время» имел заглавие «Думы рабочих». Здесь были стихотворения о представителях разных трудовых профессий: каменщиках, металлистах, плотниках, сельских батраках, чьи невзгоды и социальные надежды поэт стремился выразить. Алое знамя стало символом этих надежд, символом борьбы за их осуществление. Одним из самых сильных у Мерне является стихотворение «Ненависть», исполненное социальной глубины и страсти. Вместе с тем в нем — животрепещущая актуальность, дышащие временем, раннего этапа развития рабочего движения в Финляндии. Волнения рабочих, их крепнущее чувство классовой солидарности тогда нередко объяснялись буржуазной печатью исключительно как результат деятельности социал-демократических агитаторов. Напротив, Мерне утверждает, что ненависть масс, собравшихся вокруг трибуны с оратором, рождена не сегодня, она — плод длительного угнетения, «крик из глубины времен». Острой полемичностью стихотворения продиктованы образы, выразительные в своей жесткой будничности, направленные на то, чтобы доказать неотделимость сознания масс от каждодневного бытия. Ненависть труженика к гнету, говорит поэт, «жжет, как резь в желудке после нищенской похлебки, кусает, как стужа сквозь дыру в рукаве».

Остросоциальные стихи составляли в сборнике «Новое время» первый и наиболее важный раздел. Другие разделы содержали пейзажную, любовную, медитативную лирику,



нередко с мотивами душевного разлада, с варьированием традиционных романтических тем о трагической недостижимости мечты и о печальном уделе одиноких мечтателей. А заканчивался сборник стихотворением, в котором автор временно прошался с поэзией — в пользу непосредственного политического действия. Следующий сборник Мерне вышел только в 1910 году, и этому предшествовал период повышенной политической активности.

В ноябре 1904 года в Финляндии организационно оформилась «партия активистов» — в отличие от партии «пассивного сопротивления» противоконституционным действиям царизма. В «активисты» шли главным образом представители мелкобуржуазно-интеллигентских кругов. Мерне сразу же устанавливает тесные контакты с «активистами», его привлекает их политический радикализм, стремление противопоставить реакционному насилию революционно-патриотическую борьбу, которая, однако, вылилась в тактику индивидуального террора. Хотя и не без колебаний, Мерне извещает готовность участвовать в одном из террористических актов, входит в группу, пытавшуюся доставить в Финляндию оружие на пароходе «Джон. Графтон», сотрудничает в нелегальном активистском издании «Фрамтид». 31 октября 1905 года, во время всеобщей политической стачки, Мерне во главе избранной на массовом митинге депутации явился в резиденцию финляндского генерал-губернатора князя Оболенского, чтобы от имени народа потребовать его отставки, равно как и отставки заседавшего в это время сената (председателем которого по положению был генерал-губернатор). Когда депутации предложили повременить с аудиенцией, Мерне заявил: «Нас послал народ, а бастующему и голодающему народу не до ваших формальностей». «Это бунт?» — спросил вышедший генерал-губернатор. «Пока — невооруженный», — ответил Мерне (так передают эту сцену Хагар Ульссон и Ханс Руин). Через три дня Мерне по поручению активистов выступил на митинге русского населения Хельсинки с призывом протестовать против намерений реакционного офицерства «навести порядок» в Финляндии с помощью царских войск.

Период наиболее активного сотрудничества Мерне с рабочим движением ограничился событиями 1905—1907 годов, хотя он и впредь продолжал время от времени печататься в рабочих изданиях — вплоть до первой мировой войны. Отход от рабочих организаций и утопически воспринятых социалистических идеалов был медленным и болезненным процессом, оставившим в сознании и творчестве Мерне глубокий след.

В связи с этим в критике еще при жизни Мерне в полемической форме ставился вопрос: как расценивать его эволюцию после раннего леворадикального периода, особенно в морально-этическом плане, — было ли это отступничеством или, напротив, обретением некоего морального равновесия, а по мнению некоторых критиков, даже демонстрацией стойкости и верности усвоенным в результате нелегкого опыта принципам?

Конечно, в такой форме вопрос полемически заострен, но он не надуман, а присутствовал так или иначе в сознании самого Мерне, хотя и не ставился им столь однозначно.

Полемическое и очень темпераментное эссе

о Мерне опубликовала в середине тридцатых годов Хагар Ульссон. Лирику Мерне, не только раннюю, но и зрелых лет, она прочтала под особым углом зрения — в отраженном свете его леворадикальной юности, сквозь призму его частых воспоминаний о ней. Ульссон оговорила, что полностью содержание поэзии Мерне таким специфическим углом зрения не охватывается, что в ней есть и другие настроения, мотивы, темы. И все же критик была права в том, что отраженный свет «революционной весны» многое высвечивает в творчестве поэта. Сама Ульссон блестяще продемонстрировала это своим пристратным анализом. В лирических воспоминаниях, которым предавался Мерне, она уловила настроения грусти и печали оттого, что его граждански активная юность так быстро превалась — и по его собственной вине, и по стечению обстоятельств, «по воле рока» (статья Ульссон озаглавлена «Черная звезда» — по названию стихотворения Мерне с жалобами на несложившуюся судьбу). При чтении Мерне, писала критик, «невозможно забыть от впечатления, что то «нет», которым он некогда приостановил разбег своей юности, продолжает острой болью ранить его сердце. В душе он знает, что однажды не смог до конца слиться воедино с тем, что он сам же возвещал. И это отзывается болью, из памяти этого не вытравится. Когда приходит весна, поэту вспоминается другая весна — бурная, богато начавшаяся весна его юности. Яркими цветами расцветает прошлое, а сегодняшняя явь предстает блеклым, призрачным, угасшим миром». И далее критик цитировала стихотворение «Весны» из сборника «Дорога и странствие» (1924): «Теперь для меня и весна не весна. Что с того, что безумно кукует кукушка! огненно-багряны закаты, трепещет озерная гладь? Что с того, что простор рассекают журавлиные стаи? Ведь я — не с ними... Ночью, когда шепчется листва, я думаю о той весне и о себе — о том, что мы обманули друг друга. О, черное воспоминание об угасшем дне, далекие звуки умолкнувшей песни! Вы — тени тень, эха эхо».

Темпераментной и экспансивной натуре Ульссон импонировал именно ранний, активный Мерне, а не последующая его созерцательно-рефлектирующая позиция. Она не удовлетворяла и самого поэта. Расплатой за нее были, с точки зрения Ульссон, и печаль о прошлом, и гнетущее чувство неприкаянности, и не очень успешные попытки позднего Мерне найти опору в религии и христианской этике. При этом Ульссон не отрицала ни художественных достоинств его поздней лирики, ни значения заключенного в ней духовного опыта.

Почти тридцать лет спустя после эссе Ульссон с полемическим словом о Мерне выступил уже упоминавшийся И. Салминен, критик другого поколения и другой, более умеренной ориентации. В отличие от Ульссон Салминен симпатизирует не раннему, а позднему Мерне, находя в его «неприкаянной» позиции не только утраты, но и преимущества. «Можно сказать, — пишет он, — что из того хорошо известного тупика, в котором оказался Мерне, открывался путь к трагическому бунту такой нравственной чистоты, что этим искупались все потери». Но, как признает критик, были и опасности, ибо никакое чувство катарсиса, нравственного очищения, не могло возместить



прежнего активного отношения к жизни, а созерцательная неприкаянность была близка, по словам критика, к духовному «параличу». Мерне сам тяготился индивидуализмом и в крайние минуты горько сетовал: «Я — пленник мною самим созданного мира. Мне мало одного себя! Освободи же меня от меня самого» (Цитируемое и Салминеном стихотворение «Мольба человеческой мысли», 1928). Плюсы же критик видит в следующем: политические разочарования молодого Мерне помогли ему выработать «иммунитет к утопиям», в дальнейшем он уже не верил ни в левые, ни в правые массовые движения — это спасало его и от «массовых заблуждений»; его оружием стали скепсис и ирония, обращаемые против власти, насилия, тирании, несвободы в любой их форме. Главным объектом его сочувственного внимания стал несвободный, преследуемый человек — как индивид и личность. «Он знает о ничтожестве человека во вселенной, но он не предаст человека», — напротив, сила его заключается «в негибемом, скорбно-обличительном гуманизме», в защите традиционных либерально-демократических ценностей от всех новейших поветрий и превратностей. В полемике с Ульссон, в том числе с действительно слабыми, утопическими сторонами ее активно-динамического жизнеотношения, Салминен считал нужным напомнить о ее собственных заблуждениях политического характера: в начале 30-х годов она не сразу распознала опасность фашизма, тогда как Мерне, по мнению критика, был в этом смысле более прозорливым и быстрым на реакцию.

Отчасти Салминен прав, конечно, но только отчасти. Прав он главным образом в том, что поздний Мерне действительно разделял ценности «традиционного европейского либерализма». Но сам критик в столь сильной степени идеализирует эти ценности (причем в отрыве от их принципиально разной роли в практической общественно-политической борьбе, от ее конкретных целей и самих ситуаций), что искусственно сглаженным оказывается как раз то раздвоенно-противоречивое душевное состояние Мерне, о котором писала Ульссон и которое породило особую лирическую тему в его творчестве — с грустью о «революционной весне». Для Салминена существуют только «разочарования», но не грусть и печаль, не постоянно ощущавшаяся Мерне потребность вспомнить о прошлом. А ведь для лирики так важны душевные состояния поэта во всей их сложности. И мировоззренческий пессимизм Мерне не был столь универсальным и однозначным, как это представляется Салминену. Очень многие стихи Мерне 20—30-х годов подкупают как раз своим мужественным жизнелюбием.

Началом нового периода в творчестве Мерне обычно считается выход сборника «Дорога и странствие» (1924). В дальнейшем он работал очень продуктивно и выпустил еще одиннадцать сборников стихов (до «Дороги и странствий» вышло восемь). Сборники выходили обычно с перерывами в два, реже в один и в три года. Последняя книга увидела свет уже после смерти поэта, в 1946 году.

Как уже ясно из предыдущего, нет причины слишком резко отделять, тем более противопоставлять раннюю поэзию Мерне поздней — этого не делал он сам. Например, когда в 1926 году вышел составленный им сборник избранной лирики, остросоциальные сти-

хи начала века заняли в нем важное место. В вышедшем в следующем году сборнике статей и речей Мерне были перепечатаны его статьи из рабочих газет.

Тем не менее поэтическое творчество Мерне 20—30-х годов обладает своими особенностями. Эстетически оно во многом обновилось. Критик Бенгт Холмквист считает Мерне единственным из всех финляндско-шведских поэтов начала века, кто в дальнейшем оказался способным к творческому обновлению, в основном под влиянием молодой экспрессионистской поэзии 20-х годов.

Все большее место в творчестве Мерне стала занимать медитативная, философская лирика — о бытии в широком смысле, о трагической неустроенности мира, кровавых войнах, разгуле насилия и гнета, о страданиях и радостях человека, о его тревоге перед надвигающимся мраком фашизма и неистребимом стремлении к свету. Поэзия Мерне говорила о насущном и важном, и, имея в виду эту ее серьезность, один из рецензентов характерно выразился, что «у нее тяжелая поступь»; музыка Мерне менее всего желала «понравиться» — в отличие от «кокетливой музыки» Бертеля Грипенберга.

Также восприятие природы становится по сравнению с прежним Мерне иным, более интенсивным и углубленно психологическим. Изменяется форма стиха. Мерне чаще обращается к верлибру, да и традиционный стих используется им более раскованно. Верлибр Мерне — это еще не возбужденно-экстатический верлибр молодых экспрессионистов, который был на его слух слишком резким и атональным, в нем не хватало благозвучия и ритмической гармонии. Мерне был воспитан все-таки еще на традиционной поэтике, хотя его и влекло к новому. У него установилось определенное взаимопонимание с экспрессионистами. Экспрессионисты (Седеггран, Диктониус) высоко ценили Мерне как поэта, дорожили его мнением об их собственных стихах, посылали ему свои рукописи в надежде на совет и поддержку. Мерне в рецензиях отзывался об их книгах не без сдержанности, но в общем положительно. Следует подчеркнуть, что и эстетически, и идеологически Мерне был для экспрессионистов ближе, чем реакционно настроенный Грипенберг, с которым у них были враждебные отношения. Мерне ценили и левые поэты группы «Кийла».

Хотя в творчестве Мерне 20—30-х годов нередко пессимистические и скорбные ноты, однако мир в его восприятии не утратил богатства и разнообразия красок, не превратился в мрачную земную юдоль, не раздавлен и не обесцвечен отчаянием, ибо не повержена в лирике Мерне гордая человеческая воля, стремление к свету. Между прочим, это тоже сближает Мерне с экспрессионистской поэзией Седеггран и Диктониуса, и напрасно И. Салминен в упомянутом эссе о Мерне столь резко разделяет их именно на том основании, что позднему Мерне были якобы совершенно чужды «утопии», мечты о более счастливом мире и более достойной жизни. Для весьма значительной части лирики позднего Мерне такое утверждение несправедливо. Его герой страдает от сознания своей угнетенности и неблагоприятия в мире, но в нем живет «еретическая вера в солнце», как говорится в символическом стихотворении «Слово освобожденного узника». Стихотворение состоит из двух

частей, в другой части использован традиционно-романтический образ цветка: после долгих лет тщетного и, казалось бы, безнадежного ожидания на бессолнечном лугу расцвела дикая роза — как награда за неистребимую веру в мечту. «Моя душа истерзана, голова убелена сединами, но моя давняя, столько лет лелеяемая мечта не обманула меня!»

Собственно, и религиозные мотивы у Мерне, включая соответствующие заглавия его стихотворений («Молитвы», «О Нагорной проповеди» и т. д.), являются выражением не церковной религиозности, а гуманистической веры в положительные идеалы жизни. На это указывал сам Мерне в одном из писем: «Религиозной веры, основанной на откровении, мне не дано. Моя вера — это сердечная тоска и страстное желание другой жизни, чем моя собственная, довольно-таки жалкая жизнь, и другого мира, чем тот ад, в котором пребывает большинство людей». Стихотворение Мерне «Молитвы» — это страстный призыв к миру в атмосфере военной истерии. Была захватническая война в Абиссинии, война в Испании, надвигалась вторая мировая война. А в стихотворении «О Нагорной проповеди» о раннехристианских демократических идеалах говорится следующее: «Эти мысли были взрывчаткой, взорвавшей мир. Они были зернами, взошедшими на вечные времена, лучами, осветившими людские сердца. Ликуют верующие: хвала ему, Иисусу-назарянину, за эти мысли! Отчаявшиеся шепчут: да ведь Иисус — миф! Ну и что же? Мы отчаиваемся, но будем же и верить! В тех мыслях — путь, истина, жизнь». Мерне не мог обойтись без гуманистической веры, хотя и библейски окрашенной. Здесь он очень напоминал Лейно, с той лишь разницей, что для выражения гуманистических идеалов Лейно часто прибегал к фольклорно-языческим мотивам, наряду с библейскими.

Протестующий голос Мерне мог быть гневным. Например, два его стихотворения под названием «Пароли» были сатирическим откликом на опасную мистификацию фашистскими пропагандистами таких понятий, как «кровное родство», «родина». Думать «общими мозгами», «вместе маршрутировать», бессловесно умирать на поле брани — вот что означало для них «кровное единство под звездой Государства». От такого «единства» лучше было бежать «отшельником в пустыню», «кровно породниться с зеленой травой». А тем, кто все болтал о любви к родине, поэт отвечал: «Замолчите на минуту, — чтобы мы, другие, могли хоть немного пожить для родины». Как поэт антимилитаристского и пацифистского направления Мерне был противником традиционного романтического культа Наполеона, ибо в новых условиях этот культ смыкался с реакционнейшим «цезарианством» в той трактовке, которую дал поздний Шпенглер и которую перенил от него некоторые финляндские поэты (Э. Тигерстедт и др.). В стихотворении Мерне «Два героя» двойственной полководческой славе Наполеона — «плута и гения», «актера и героя» — противопоставляется моральное величие его жертвы, тирольского крестьянина Андреаса Гофера, возглавившего партизанскую борьбу против французских завоевателей и расстрелянного ими. В сильном стихотворении «Рок» автор напоминает современным завоевателям, что кончил Наполеон все-таки Святой Еленой. Мерне, певец шхер и моря, со-

здал образы разгневанного океана и «оскорбленного моря», чей вольный покой нарушен взрывами торпед. «Над морем горел Марс» — так назывался сборник Мерне 1939 года, в котором мрачные картины моря выражали близость катастрофы — второй мировой войны. Когда Финляндия вступила в войну на стороне гитлеровской Германии, Мерне остался антифашистом. Ю. Врède в своей книге приводит написанные во время войны сатирические стихи Мерне об этом позорном «братстве по оружию», тогда они не могли быть опубликованы и остались в рукописи. О тогдашней атмосфере в семье Мерне свидетельствует и тот факт, что дочь поэта Гудрун за публичную речь летом 1943 года, в которой она дала понять, что Гитлер потерпит поражение, была привлечена к суду и приговорена к денежному штрафу или к трем месяцам тюрьмы.

Обобщая, можно сказать, что в зависимости от того, в каком эмоциональном регистре воспринималась поэтом жизнь, преобладала ли скорбь или надежда, в его лирике предстают две образные «модели мира». От одной веет полярным и космическим холодом, над планетой простер длань «ледяной бог» насилия, меч навис над ней, и все застыло в безутешном ожидании, эмоциональным фоном является скорбное сострадание.

Но на этом фоне, по контрасту с ним, Мерне чрезвычайно остро и свежо воспринимал также радостные стороны бытия. И тогда мир раздвигался, пронизывался ощущением простора, наполнялся светом и теплом. «Солнечная песня», «Мы верим в солнце и простор», «Мне судьба подарила день света и простора», «Солнце, солнце, солнце!» — подобные строки и восклицания нередки у Мерне, причем уже на склоне лет. Он пел и об осени жизни, но охотней о солнечной весне. В стихотворении «Весна у моря» (1946) поэт предлагал свое особое «летосчисление», жизнелюбивое и озорное: «Только глупцы ведут безутешный счет годам от осени до осени — я же считаю от весны до весны». В последнем предсмертном стихотворении «Молитва в новогоднюю ночь» (1946) он просил судьбу подарить ему еще одну весну.

Резкое несоответствие действительности гуманистическому идеалу побуждало Мерне считать высшей действительностью именно жизнь духа в ее вершинных проявлениях. Примечательно стихотворение «Сон и действительность», в котором поэт спрашивает: разве царящие в мире зло, ненависть, кровавое насилие — не кошмарный сон, хотя это зовется действительностью и хотя лишь порывы бунтующей мысли вселяют надежду? «Разве струющийся в небеса дым от жертвенного огня Авеля не высшая действительность над ползающим в прахе Каином? И разве пробудившаяся в Каине совесть не выше Каиновой ненависти?.. Подобно ласточкам над кипящим морем, парит наша мысль, выискивая хоть какую-нибудь опору для человеческого сердца в этом мире насилия. Сама свободная мысль есть удивительнейшая и неопровержимейшая действительность».

Была в этой позиции своя слабость, но была и сила. Лирике позднего Мерне не хватает заостренного внимания к конкретным социальным проблемам, которое было присуще ему в начале века, когда его сознание теснее свя-

зывалось со сдвигами в сознании самих угнетенных масс.

Но и для позднего Мерне поэзия, чтобы быть достойной называться поэзией, должна была непрестанно вести бой за правду — без усталости и компромиссов. Он часто славил нравственную несгибаемость, в том числе в своеобразной оде «Вольной песне». Сомневающиеся и отчаявшиеся могут спросить, какой прок от усилий многих поколений рыцарей правды, когда сама правда извращена, когда она «лишь перчатка на кулаке насильника»? И все же неизменным паролем поэзии остается: гневно «трубить в рог Роланда» и храбро вступать в бой.

В литературе о Мерне нередки сожаления, что его творчество недостаточно известно в Финляндии и в Швеции. Причем исследователи не скрывают своей личной симпатии к его лирике: например, Том Хедлунд начинает свою книгу о Мерне с признания в давней привязанности к нему. Отрадным признаком является уже то, что количество исследований о Мерне возрастает. Если до войны о нем писалось мало, то в каждое из послевоенных десятилетий о Мерне выходило по солидной книге (преимущественно докторские диссертации): Х. Руина (1946), П. О. Барка (1963), Ю. Врэде (1968), Т. Хедлунда (1974). Перечисленных авторов можно отнести к либерально-демократическому направлению в академической науке Финляндии и Швеции. На финском языке основательная глава о раннем творчестве Мерне содержится в двухтомном исследовании ученого-марксиста Р. Пальмгрена о пролетарской литературе Финляндии (1966). Таким образом, общие процессы демократизации финской жизни коснулись и творчества Мерне — оно приобрело актуальность и прочно заняло свое место в прогрессивном культурном наследии, тогда как некоторые прежние авторитеты реакционного крыла отошли в тень.

Актуальность творчества Мерне и того направления мысли, которого он придерживался, становится особенно очевидной в связи с современными дискуссиями о положении и проблемах финляндско-шведской литературы. Например, в 1979 году ей был посвящен специальный выпуск «Ежегодника финляндско-немецких литературных отношений», издавае-

мого на немецком языке Библиотекой немецкой литературы в Хельсинки. В выпуске напечатана, в частности, статья поэта Тома Санделла, в которой ставится по существу та же проблема о необходимости дальнейшей демократизации финляндско-шведской литературы, которую еще в начале века настойчиво выдвигал Арвид Мерне. Памятуя о живучести аристократических тенденций в этой литературе в ее прошлом, Санделл отмечает, что еще и сегодня кое-кто считает ее не более чем литературой «разлагающегося класса господ». Со столь крайними суждениями Санделл не согласен, хотя и его тревожат некоторые «остаточные» явления. К ним он относит следующие: у финляндских шведов по-прежнему нет рабочей литературы, как нет и развитой литературы о деревне, о крестьянстве; финляндско-шведские писатели все еще являются, как правило, выходцами из буржуазной среды и эту же среду описывают, поскольку рабочей и крестьянской среды не знают.

Однако после второй мировой войны среди новых поколений писателей наблюдается некоторый процесс «полевения». Том Санделл считает парадоксом, что более или менее левые авторы происходят не из рабочих, а из буржуазных семей, подчас очень обеспеченных. Они — «отколовшиеся» от своего класса, в той или иной степени духовно порвавшие с ним. Не случайно статья Санделла озаглавлена «Буржуи-отступники». Он имеет в виду таких писателей, как Марианна Алопеус, Кристер Чилман, Ерн Доннер, Андерс Клеве, Клаес Андерссон, Хенрик Тикканен. Герои их книг — тоже из «отступников», и заняты они критикой своего класса и самокритикой. Санделл не без причины называет эту литературу «покаянно-исповедальной» по основной ее тоналности.

Нет нужды дополнительно разъяснять, почему на этом современном фоне наследие Мерне, его гражданские порывы и искания, сама его биография приобретают повышенную актуальность. Современные исследователи поэзии Мерне недвусмысленно подчеркивают, что своими работами они хотели бы содействовать ее популяризации среди читателей.

Право же, она того заслуживает.